

Содержание

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА НА ЗЕМЛЕ	9
ГРУСТЬ МОЕЙ МАТЕРИ	54
ПРОСТИ МЕНЯ	96
ВЕЧНАЯ РАДОСТЬ	111
ПАЛАТКА МОЕГО ОТЦА	139
СЛОЖНОСТИ МЫШЛЕНИЯ	163
ПИСАТЬ ДО БОЛИ В РУКЕ	175
ПОТОП	198
ЗДЕСЬ МЫ ВМЕСТЕ	223
УМРИ СМЕЯСЬ	232
НЕТ ТАК НЕТ	246
ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА	265
МОЯ ЖИЗНЬ ПОД ВОДОЙ	278
ОЧЕНЬ УДОБНАЯ ВЕЩЬ	292
КОГДА Я ВИДЕЛ ТЕБЯ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ	299
СДЕЛАЛ БЫ ЭТО ЛАМЕДВОВНИК?	306
А + Л	315

*Моим дедушкам и бабушкам,
научившим меня, как не исчезнуть,*



*и Джонатану,
в котором вся моя жизнь.*



Последние слова на земле

Когда обо мне напишут некролог... Завтра. Или там послезавтра. В нем будет сказано: “ЛЕО ГУРСКИ УМЕР В КВАРТИРЕ, ПОЛНОЙ ВСЯКОГО ДЕРЬМА”. Странно еще, что меня заживо не погребло. Квартирка-то небольшая. Приходится стараться изо всех сил, чтобы оставался проход от кровати до туалета, от туалета до кухонного стола и от кухонного стола до входной двери. Напрямую от туалета до входной двери пройти невозможно, надо идти мимо кухонного стола. Прямо как на бейсбольной площадке: кровать — домашняя база, туалет — первая, кухонный стол — вторая, а входная дверь — третья. Когда я лежу в постели и слышу звонок в дверь, чтобы открыть ее, нужно сделать круг через туалет и кухонный стол.

Если это Бруно, я впускаю его, не говоря ни слова, и трусцой спешу назад к кровати, а в ушах гудит рев невидимой толпы.

Часто гадаю, кто будет последним человеком, видевшим меня живым. Готов спорить — разносчик из китайской закускойной. Четыре раза в неделю что-нибудь

у них заказываю. Когда бы парень ни пришел, всегда очень долго ищу бумажник. Он стоит в дверях и держит жирный пакет, а я думаю: не сегодня ли вечером доем свой ролл, залезу в постель, а во сне сердце у меня и откажет.

Специально стараюсь быть на виду. Иногда, когда выхожу на улицу, покупаю сок, даже если не хочу пить. Если в магазине много народу, нарочно просыпаю мелочь на пол, да так, чтобы монетки разлетелись во все стороны. Встаю на колени и собираю их. Опуститься на колени мне очень тяжело, а вставать еще тяжелее. Так что? Наверное, я выгляжу как полный идиот. Захожу в “Спортивную обувь” и спрашиваю: “Какие у вас есть кроссовки?” Продавец с сомнением оглядывает меня сверху донизу и указывает на единственную пару “Рок-порте”, белые такие. “А-а, — говорю, — эти у меня уже есть”, — и иду к полке, где “Рибок”. Выбираю там что-нибудь весьма отдаленно смахивающее на ботинок, какой-нибудь водонепроницаемый башмак, и прошу сорок первый размер. Паренек снова смотрит на меня, на этот раз внимательнее. Он смотрит долго и упорно. “Сорок первый размер”, — повторяю я, сжимая в руках перепончатый башмак. Он качает головой и идет за моим размером. Когда возвращается, я уже снимаю носки. Засучиваю штанины и смотрю на свои старческие ступни; с минуту тянется неловкое молчание, наконец он понимает, чего я жду, — чтобы он надел ботинки мне на ноги. Конечно, я так ничего и не покупаю... Просто не хочу умереть в тот день, когда меня никто не видел.

Несколько месяцев назад попало мне в газете объявление: “В КЛАСС РИСОВАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ

ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА, 15 ДОЛЛАРОВ В ЧАС”. Мне даже не верилось, что может так повезти. На меня будет смотреть столько народу. И так долго. Я позвонил. Ответила женщина. Сказала, что можно прийти в следующий вторник. Хотел описать себя, но ей было все равно. “Нам кто угодно подойдет”, — сказала она.

Дни тянулись медленно. Рассказал Бруно про свою затею, так он не понял. Решил, что я иду на курсы рисования, чтобы посмотреть на голых девушек. Он не хотел, чтобы его разубеждали. “А сиськи там показывают?” — спрашивает. Я пожал плечами. “И ниже живота тоже?”

Когда миссис Фрейд с четвертого этажа умерла и ее нашли только через три дня, мы с Бруно завели привычку приглядывать друг за другом. Мы придумывали мелкие поводы. “У меня закончилась туалетная бумага”, — говорил я, заходя к нему. На следующий день ко мне в дверь стучали. “Потерял телепрограмму”, — объяснял он, и я отдавал ему свою газету, хотя знал, что точно такая же лежит у него на диване. Однажды он спустился ко мне в воскресенье днем. “Мне нужен стакан муки”, — сказал он. “Ты же не умеешь готовить”. Бестактно, конечно, но я не удержался. Воцарилось молчание. Бруно посмотрел мне прямо в глаза. “А вот представь себе, — сказал он, — взял да и решил испечь пирог”.

Когда я приехал в Америку, у меня здесь не было никого, кроме троюродного брата — слесаря по замкам, — вот я и стал работать у него. Был бы он сапожником, я бы тоже стал сапожником; убирал бы он дерьмо — и я бы убирал дерьмо. Но он был слесарем. Он научил меня, и я тоже стал слесарем. У нас

с ним было свое небольшое дело. А потом у него обнаружился туберкулез, через некоторое время врачи удалили ему печень, и он умер, так что дело осталось мне. Я посылал его вдове половину прибыли, даже когда она вышла замуж за врача и переехала на Бей-сайд¹. Пятьдесят лет отдал этому. Не так я представлял когда-то свою жизнь. И что? Постепенно мне понравилось. Выручать — и тех, кто захлопнул дверь и оставил ключи внутри, и тех, кто хотел удержать снаружи то, что мешало им спокойно спать по ночам.

И вот как-то раз я стоял и смотрел в окно. Может, небо созерцал. Поставьте любого дурака перед окном и получите Спинозу. День угасал, сгущалась тьма. Я потянулся включить свет, и вдруг мне словно слон наступил на сердце. Я упал на колени. И подумал: вот и не получилось жить вечно. Прошла минута. Еще минута. Еще. Я пополз, царапая ногтями пол, вперед, к телефону.

Двадцать пять процентов моей сердечной мышцы умерло. Выздоровливал я долго, к работе так и не вернулся. Прошел год. Я понимал, что время идет своим чередом. Смотрел в окно. Видел, как на смену осени пришла зима. На смену зиме — весна. Иногда Бруно спускался посидеть со мной. Мы знали друг друга с детства, вместе в школу ходили. Он был одним из самых близких моих друзей. Бруно носил очки с толстыми стеклами; волосы у него тогда были рыжие, и он их ненавидел, а голос то и дело срывался от волнения. Я и не знал, что Бруно еще жив, но как-то раз шел по Восточному Бродвею и услышал его голос. Я обернулся. Он

1 Богатый район Бруклина. — Здесь и далее примечания переводчиков.

стоял у лотка зеленщика, спиной ко мне, и спрашивал, сколько стоят какие-то фрукты. Тебе все это мерещится, сказал я себе. Хватит мечтать, ну разве такое возможно — друг детства, и на тебе, вот он здесь. Я стоял посреди тротуара, не в силах пошевелиться. Он давно в могиле, сказал я себе, а ты здесь, в Соединенных Штатах Америки, вон вывеска “Макдоналдса”, приди в себя. И все-таки я подождал, чтобы уж наверняка. В лицо я Бруно не узнал бы, но вот походка... Походку его я бы ни с чьей не спутал. Он чуть не прошел мимо, и тут я вытянул руку. Я не соображал, что делаю, вроде схватил его за рукав. “Бруно”, — сказал я. Он остановился и повернулся ко мне. Сначала вид у него был испуганный, потом ошеломленный. “Бруно”. Он посмотрел на меня, в глазах у него стояли слезы. Я схватил его за другую руку: одной рукой держал его за рукав, а другой за руку. Его начало трясти. Он коснулся моей щеки. Мы стояли посреди тротуара, мимо спешили люди, был теплый июньский день. Волосы у него были седые и редкие. Он уронил фрукты. Бруно...

Через пару лет умерла его жена. Ему тяжело было оставаться в старой квартире, все напоминало о ней, так что, когда этажом выше меня освободилось жилье, он переехал в мой дом. Мы часто сидим вместе за столом у меня на кухне. Мы можем просидеть так целый день, не говоря ни слова. А если и разговариваем, то ни в коем случае не на идише. Слова нашего детства стали для нас чужими — мы не могли использовать их так, как раньше, и поэтому решили вообще их не произносить. Жизнь требовала нового языка.

Бруно, мой старый верный друг. Я так и не описал его как следует. Может, просто сказать, что опи-

сать его невозможно? Нет. Лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем не пробовать вообще. Мягкий пух твоих седых волос слегка колышется у тебя на голове, словно полублетевший одуванчик. Знаешь, Бруно, мне не раз хотелось подуть тебе на голову и загадать желание. Да вот мешают последние остатки хорошего воспитания. А может, лучше начать с твоего роста? Ты очень маленький. В лучшем случае достаешь мне до груди... Или правильнее начать с очков? Ты выудил их из какой-то коробки на распродаже ненужных вещей и взял себе; эти огромные круглые штуковины так увеличивают твои глаза, что, стоит тебе моргнуть, и выглядит это как землетрясение в 4,5 балла по шкале Рихтера. Это женские очки, Бруно! Мне вечно не хватало духу сказать тебе это. Я пытался, и не раз... И кое-что еще. Когда мы были юными, ты писал лучше меня. Я был слишком горд, чтобы сказать тебе это. Но я знал. Поверь, я знал это тогда и знаю сейчас. Мне больно думать, что я так тебе этого и не сказал, больно думать, кем ты мог бы стать. Прости меня, Бруно. Мой старинный друг. Мой лучший друг. Я не отдал тебе должного. Твое присутствие так много подарило мне на закате жизни. Именно твое — человека, который мог бы найти для всего этого слова.

Однажды, это было уже давно, я нашел Бруно на полу посреди гостиной; рядом — пустой пузырек из-под таблеток. Он решил, что с него довольно. Он всего лишь хотел заснуть навсегда. На груди у Бруно была приколата записка с тремя словами: “Прощайте, мои любимые”. Я закричал: “Нет, Бруно, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!” Я ударил его ладонью по щеке. Наконец его веки дрогнули и приот-

крылись. Взгляд был пустой и тусклый. “Проснись, думкоп¹! — закричал я. — Ты понимаешь? Ты должен проснуться!” Его глаза снова стали закрываться. Я позвонил по 911. Набрал в вазу холодной воды и вылил на него. Потом приложил ухо к его груди. Где-то в глубине слышалось какое-то шевеление. Приехала скорая. В больнице ему промыли желудок. “Зачем вы приняли эти таблетки?” — спросил доктор. Бруно, больной, измученный, дерзко поднял глаза. “А вы как думаете, зачем я принял эти таблетки?” — выкрикнул он. Вся палата замолчала; все вытаращили глаза. Бруно застонал и повернулся к стене. В ту ночь я сам уложил его в постель. “Бруно”, — произнес я. “Прости, — ответил Бруно, — я был таким эгоистом”. Я вздохнул и повернулся, чтобы уйти. “Посиди со мной!” — воскликнул он.

Потом мы никогда об этом не говорили. Так же, как никогда не говорили о детстве, об общих потерянных мечтах, о том, что случилось и чего не произошло. Как-то мы сидели вдвоем и молчали. Вдруг один из нас засмеялся. Это оказалось заразным. Смеяться нам было не с чего, но мы начали хихикать, и вот уже качались на стульях и прямо-таки *выли* от смеха — так, что у нас по щекам текли слезы. У меня между ног появилось мокрое пятно, и это насмешило нас еще сильнее; я рукой колотил по столу и жадно хватал ртом воздух.

Я думал, может, вот так и умру, в припадке смеха. Что может быть лучше? Смеясь и плача, смеясь и распевая. Смеясь, чтобы забыть, что я один, что это конец моей жизни, что смерть ждет меня за дверью.

1 Дурак (*идиш*).

Когда я был ребенком, я любил сочинять. Только к этому в жизни и стремился. Придумывал несуществующих людей и заполнял историями о них целые тетради. О мальчике, который вырос и стал таким волосатым, что люди охотились за ним ради его меха. Ему приходилось прятаться на деревьях, и он любил птичку, которая считала себя трехсотфунтовой гориллой. О сиамских близнецах, один из которых был влюблен в меня. Мне казалось, что сексуальные сцены у меня получались очень оригинальными. Так что? Став постарше, я решил, что хочу быть настоящим писателем. Попробовал писать о реальных вещах. Я хотел описать мир, потому что жить в неопи-санном мире было слишком одиноко. К двадцати одному году я написал три книги; и кто знает, что с ними потом стало. Первая была о Слониме, моем городе, постоянно переходившем от Польши к Рос-сии и обратно. Я нарисовал его карту для форзаца, обозначив дома и магазины: здесь мясник Кипнис, тут — портной Гродзенский, а вот здесь Фишл Ша-пиро, то ли великий *цадик*¹, то ли идиот, никто точно не знал; а тут площадь и поле, где мы играли; вот в этом месте река становилась шире, а в этом — уже, тут начинался лес, а здесь стояло дерево, на котором повесилась Бейла Аш, и еще тут, и тут. Так что? Когда я дал прочитать свою книгу единственному в Сло-ниме человеку, мнение которого меня интересовало, она просто пожала плечами и сказала, что ей больше нравилось, когда я все выдумывал. Тогда я написал вторую книгу и выдумал все от начала до конца. Я на-полнил ее людьми, у которых были крылья, деревь-

¹ *Цадик* — в широком смысле — праведник, в узком — духовный лидер хасидской общины (*иврит*).

ями, корни которых тянулись к небу, людьми, которые забывали собственные имена, и людьми, которые ничего не могли забыть; я даже выдумал новые слова. Когда книга была закончена, я помчался к ее дому, бежал всю дорогу. Я ворвался в дом, взлетел по лестнице и вручил книгу единственному в Слониме человеку, чье мнение меня интересовало. Я прислонился к стене и наблюдал за выражением ее лица, пока она читала. За окном стемнело; она продолжала читать. Шли часы. Я присел на пол. Она все читала и читала. Наконец она закончила и подняла голову. После долгого молчания она сказала: может, лучше мне не выдумывать совсем уж *все*, а то иначе трудно хоть во *что-нибудь* поверить.

Другой бы на моем месте сдался. Я начал заново. На этот раз я писал не о реальности и не о выдумках. Я писал о том единственном, что знал. Страниц становилось все больше. И даже когда та единственная, чье мнение меня интересовало, уплыла на корабле в Америку, я продолжал заполнять страницы ее именем.

Она уехала, и мир рухнул. Ни один еврей не мог чувствовать себя в безопасности. Ходили слухи о кошмарных вещах, настолько кошмарных, что мы не могли в них поверить, пока у нас уже не осталось выбора и не стало слишком поздно. Я работал в Минске, потом потерял работу и вернулся домой, в Слоним. Немцы двигались на восток, они подходили все ближе. В то утро, когда мы слышали танки, мама велела мне спрятаться в лесу. Я хотел взять с собой брата, ему было всего тринадцать, но мама сказала, что возьмет его с собой. Зачем я послушался? Потому что так было проще? Я убежал в лес. Я ле-

жал на земле и не шевелился. Вдали лаяли собаки. Шли часы. А потом выстрелы. Очень много выстрелов. Почему-то никто не кричал. А может, я не слышал криков. Потом наступила тишина. Мое тело ооченело, я помню, что чувствовал во рту вкус крови. Не знаю, как долго я пробыл там. Много дней. Я так и не вернулся обратно. Когда я снова поднялся на ноги, во мне уже не осталось ни капли веры в то, что я смогу найти слова, чтобы описать даже малую частичку жизни.

Так что?..

Через пару месяцев после моего сердечного приступа, через пятьдесят семь лет после того, как я бросил это дело, я снова начал писать. С тех пор я писал только для себя, и это было совсем другое. Мне было все равно, найду ли я слова, более того, я знал, что правильные слова найти невозможно. Так вот, приняв за невозможное то, что раньше считал возможным, и понимая, что никогда никому ни строчки из этого не покажу, я написал фразу:

“Жил-был мальчик”.

Несколько дней подряд только эта фраза и смотрела на меня с пустой страницы. Через неделю добавил к ней еще одну фразу. Вскоре уже заполнил страницу. Мне это доставляло удовольствие, словно разговоры вслух с самим собой — иногда со мной такое происходит.

Как-то я сказал Бруно:

- Угадай, сколько у меня уже страниц?
- Ума не приложу, — ответил он.
- Напиши на бумаге цифру и передай ее мне.

Он пожал плечами и вынул ручку из кармана. Минуту-другую думал, вглядываясь в мое лицо.

— Попробуй угадать хотя бы примерно, — сказал я.

Он сгорбился над своей салфеткой, нацарапал цифру и протянул ее мне. Я на своей салфетке написал правильный ответ: 301. Мы обменялись салфетками. Я развернул ту, что дал мне Бруно. И что? Почему-то там стояло 200 000. Он взял мою салфетку и развернул ее. Лицо его помрачнело.

Иногда мне казалось, что последняя страница моей книги станет и последней страницей моей жизни, что, когда книга закончится, закончусь и я, по комнатам моим пронесется порыв ветра и унесет страницы, и, когда порхающие белые листки исчезнут, в комнате станет тихо и стул, на котором я сидел, опустеет.

Каждое утро я что-нибудь добавлял к написанному. Триста одна страница — это уже кое-что. Иногда, закончив писать, я шел в кино. Это для меня всегда целое событие. Бывает, я покупаю попкорн и, если рядом есть кому это заметить, просыпаю его на пол. Люблю сидеть в первом ряду, люблю, когда экран заполняет все пространство у меня перед глазами, чтобы ничто не отвлекало от происходящего. И еще хочу, чтобы этот момент длился вечно. Нет таких слов, чтобы описать, как я счастлив, когда смотрю на кусочки жизни в увеличенном формате на экране надо мной. Я бы сказал, что он *больше жизни*, но я никогда не понимал этого выражения. Что значит “больше жизни”? Сидеть в первом ряду, смотреть вверх на лицо красивой девушки высотой в два этажа и чувствовать, как от вибрации ее голоса у меня подрагивают ноги, — это напоминает мне о том, как велика жизнь. Так что я сажусь в первом ряду. Если ухожу с затекшей шеей и все еще немного возбужденный, значит, место было

хорошее. Я не какой-нибудь там извращенец. Просто хочу быть величиной с жизнь.

Некоторые места моей книги я помню так хорошо, что они отпечатались у меня в самом сердце.

Вот именно, *в самом сердце*. Такие слова я зря говорить не стану.

Сердце у меня слабое и ненадежное. Когда я умру, это будет именно из-за сердца. Я стараюсь особенно его не напрягать. Если на меня обрушивается потрясение, направляю его куда-нибудь в другое место. В желудок, например, или в легкие — их иногда сдавливает, но они еще никогда не подводили меня и продолжают дышать. Когда я прохожу мимо зеркала и мельком вижу собственное отражение или когда стою на автобусной остановке, а мальчишки подходят сзади и говорят: “Ого! Дерьмом пахнет!” — все эти небольшие порции ежедневного унижения я недолго думая адресую печени. Остальные удары принимаю в другие места. Поджелудочную железу я припас для тяжести потерь. Правда, их так много, а орган такой маленький. Но на редкость выносливый; чувствую острый укол, и все. Иногда я будто вижу собственное вскрытие. Разочарование в себе: правая почка. Разочарование других во мне: левая почка. Личные неудачи: *кишки*. Не стану представлять дело так, словно я превратил это в целую науку. Не так уж и хорошо я все продумал. Все возникает по ходу дела. Просто замечаешь некоторые повторяющиеся вещи. Когда часы переводят вперед и темнота наступает раньше, чем я ждал, я почему-то чувствую это в запястьях. А когда просыпаюсь и мои пальцы не гнутся, почти наверняка мне снилось детство. Поле, где мы обычно играли, поле, где все было открытием и все было воз-

можно. (Мы бегали так быстро, что казалось, вот-вот кровь пойдет горлом; для меня это и есть звуки детства — тяжелое дыхание и топот ботинок по жесткой земле.) Негнущиеся пальцы — это сон о детстве, каким оно вернулось ко мне в конце жизни. Приходится держать руки под струей горячей воды, и пар затуманивает зеркало, а снаружи шелестят крыльями голуби. Вчера увидел, как мужчина пнул собаку, и это отдалось где-то в глубине черепной коробки, за глазами. Не знаю, как называется это место — то, откуда берутся слезы. Боль от забвения: позвоночник. Боль от воспоминаний: позвоночник. До сих пор удивляюсь, что живу в мире, где больше нет тех, кто породил меня. Мгновения, когда вдруг осознаешь, что родители умерли. Это колени; приходится использовать полтюбика мази “Бен-Гей”, и все равно их просто так не разогнешь. Всему свое время. Когда я просыпаюсь и на мгновение верю, что рядом кто-то спит, — геморрой. Одиночество: его целиком не уместит ни один орган.

И с каждым утром оно набирает вес.

Жил-был мальчик. В городке, которого больше нет, в доме, которого больше нет, на краю поля, которого больше нет. Где все было открытием и все было возможно. Палка могла быть мечом. Камень — бриллиантом. Дерево — замком.

Жил-был мальчик; в доме, что через поле от дома девочки, которой больше нет. Они придумывали тысячи игр. Она была Королевой, а он был Королем. В осеннем свете ее волосы светились, как корона. Они собирали мир маленькими пригоршнями. Когда небо темнело, они расходились по домам с листьями в волосах.